

## 8

В октябрьские судьба потребовала решения.

Лекций, да и прочих занятий, не было, но университетские двери, как и часть аудиторий, оставались беспечно распахнуты под ответственность неиссякаемой старухи Изергиль. Она сидела на своем стуле у изогнутой лампы и только смотрела на входящих. Ресурс ее памяти был беспределен, она с ходу определяла — свой или чужой. Но что могло завести чужаков сюда в праздники? Так что она просто смотрела, одних равнодушно про себя отмечая, другим улыбаясь вежливо или с чувством.

В общем, мы сидели в самых непринужденных позах — все та же компания, сведенная странной прихотью неведомых нам обстоятельств, рассуждали о темах дипломов, за которые следовало бы уже и браться, о двух госэкзаменах, которые грядут по весне будущего года, и всякой прочей совершенно необязательной ерунде. Словом, наслаждались привилегиями пятикурсников — ведь лекции наши завершались, артиллерия миновала, оставив потные воспоминания и военные билеты с вписанным туда предназначением — младший лейтенант, и мы позволяли себе всю возможную необязательность, порой называемую «факультатив».

Братия делилась на три части. Едва ли не впервые отделению журналистики позволили, чтобы выпускники защищали творческие дипломы. Например, цикл очерков, объединенных одной темой и обязательно напечатанных. Группа интервью, статей, бесед. Впрочем, даже кафедра во главе со славным Борисом Самуиловичем трудно представляла, каким манером произойдет защита такого рода трудов, и склонялась к традиции: такая-то тема в такой-то газете или журнале, желательно старых лет. Самую значительную часть составляли колеблющиеся.

Сбить людей с толку, как выяснял я всю дальнейшую жизнь, сподручнее для управляющих. Когда что делать не знает большинство, проще всего впарить ничем не испытанную лжеидею, от которой потом все будут плеваться. Но это — потом.

В консерваторы же я подался, еще не разумея таких серьезных истин. Выбрал историю журналистики своего родного края, да еще в XIX веке, что, кроме тревоги за незнания свои, пока ничего не сулило, кроме долгой поездки домой.

Джурка Скок, к примеру, был переполнен творческими надеждами. Очерки, за которые он получил по морде, все-таки были напечатаны, хотя и с выговорешником редактору — и их можно было доработать с учетом критики. Всякие новые большие стройки на Урале

и в Сибири объявлялись одна за другой, хоть и не так буйно, как это будет пару лет спустя. И мы все признали его путь самым полезным для него, да и для кафедры, которую все поклевывали где-то в верхах за творческое отставание от быстротекущей жизни.

Однажды в ту пору, вполне бездельную, не просто забрел, а бодрым шагом зашел Зиновий Абрамович, наш газетный маэстро. Ну, тот самый Зиновий Абрамович! Которого мы, закрывшись в фотолаборатории, пытали, как нам осознать закрытое письмо XX съезду. Он так и оставался у нас личностью доверенной, ни разу никого не обидел, кажется, даже сам опасался, кто бы не обидел его.

Похрустывая пальцами рук, он спросил, в курсе ли мы, что величайший в мире шагающий экскаватор, цепляющий груз для целого вагона за раз, делается на нашем Уралзаводе. Разумеется, не все об этом были осведомлены.

— А знаете ли вы, — воскликнул он, — что завод намерен выпустить этот экскаватор — с двумя ковшами? Такое произойдет впервые в мире!

Из тех времен, когда я это пишу, самым ласковым и сверхинтеллигентным ответом на такую горячую новость можно полагать что-то вроде классического: «Что я Гекубе, что мне Гекуба»? Или же — а какая мне-то польза от этого? Или же — на информашку потянет, только кому она нужна? Угольщикам?

Однако мы жили в иное время и хотя были столь же далеки от экскаваторов, как и нынешнее племя, выращиваемое для чего-то похожего, было внутри нас еще что-то! Мы еще почти не знали, что такое выгодность, наплевизм, равнодушие! Нам хотелось всего, но новые штаны и красивые платья не исполняли в этих мечтах главных ролей! Мы не были причастны к экскаваторам, но не остались безучастны к замечательному сообщению.

И что это являло собой — в общем и в целом? Ответу одним словом: жажду.

Мы не выражались лозунгами и призывами, это делали другие. Таких мы повстречаем не раз, да и сами нет-нет да и сорвемся в словесный искус. Но мы тогдашние, только еще оперяющиеся птенцы, хотели новизны и ждали применения нас самих в делах, которые принадлежат не нам лично, а всем!

Из-за спины, может, даже из тьмы, выступало наше такое недавнее собственное прошлое, хотя о каком прошлом можно толковать в двадцать лет? Однако оно было! И у меня — было! И отец, прицепляющий мне значок ГТО на мою рубашонку — уже на пороге, с мешком на плече, уходящий в войну, и мама с зеленым лицом, после того как сдавала кровь и вела меня в донорский магазинчик, чтобы положить сладкий кусочек

топленого масла в кляво своего цыпленка, и угарные обмороки, и шакалы из восьмой столовки, которые просят, кивая на похлебку — «Мальчик, оставь!», и концерты в госпитале — их спертый воздух и чьи-то взрослые стоны, приглушенные дверью палаты, за которой раненые. И книги наши волшебные, и спорт, и Сталин, тоже глядящий из тьмы, — он смотрит без всякого недоумения, будто все знает наперед, что станет после него, но мы-то — кто?

Те, кому все равно?

Это кинулось ко мне в совсем не подходящий момент, без всяких оснований. Но в ответ же, в ответ! В ответ на слова старого еврея, о котором вот именно так мы и думать себе не позволяли, но зато восторгались в согласии с ним, радовались этому невиданному экскаватору как родному и хотели — очень хотели! — чтобы все у всех получилось!

— Почему бы? — сказал наш учитель. — Вам? Без пяти минут выпускникам? Не позвонить конструктору! Который все это придумал! И не пригласить его в университет! Позвать, чтобы он рассказал об этом чуде?

Именно такой поворот вызывает удивление — как добраться до него? А если откажет?

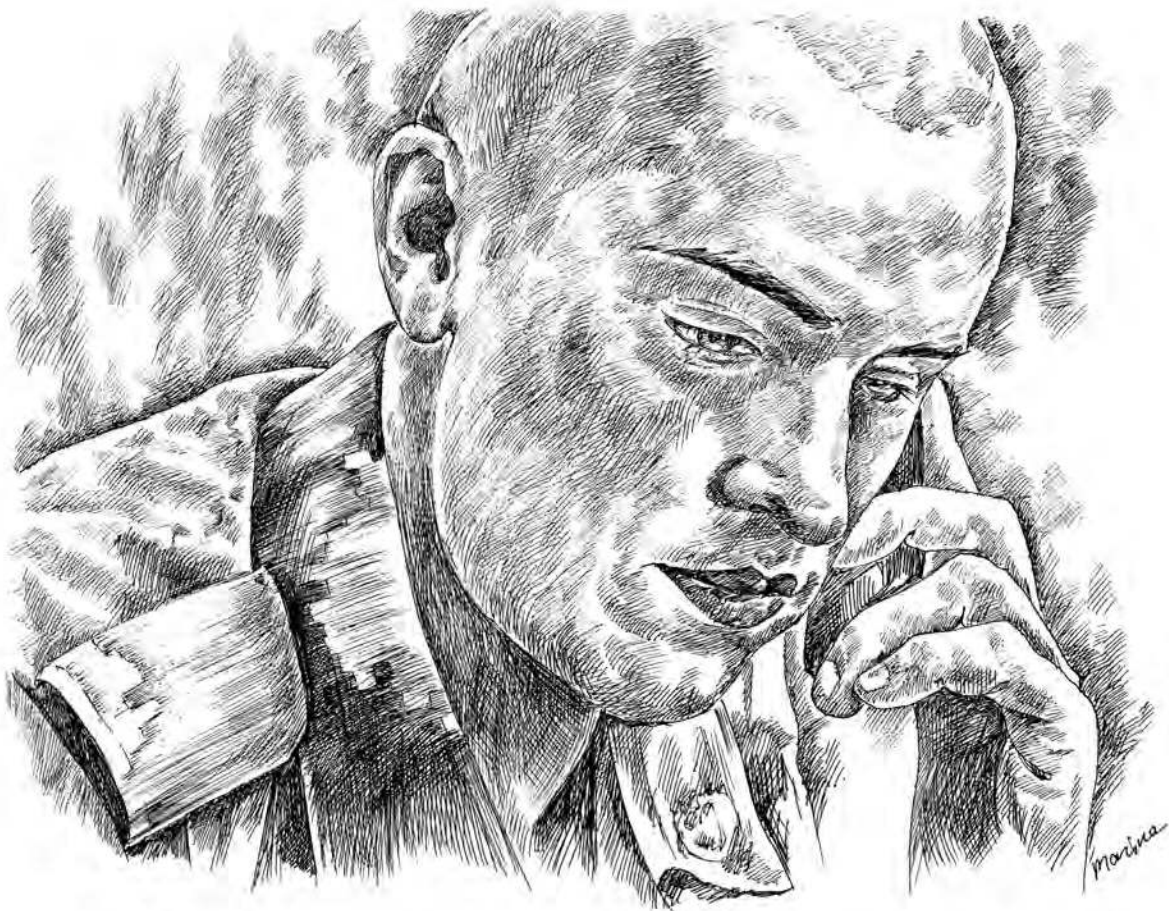
— Нам — откажет! — вскипел умный старец. — Вам — никогда!

То ли у меня глаза горели ярче, то ли я сидел поближе, но он воззрился на меня и сказал вызывающе:

— Вот вы! Слаб? Позвонить и пригласить? А мы можем!

И я пошел. Меня конвоировала целая толпа во главе, конечно, с инициатором. Кафедра, куда заскакивали на минуту, обернулась домом родным, и мне тут же подсунили и номер, и трубку. И имя-отчество, с кем говорить. Это был Химич Георгий Лукич, самый что ни на есть главный конструктор.

По ту сторону провода оказалась, естественно, строгая, но терпеливая дама. Она выслушала меня, записала телефон кафедры и обещала скоро перезвонить. Мы хором вздохнули, полагая, что на ожидание уйдет пара дней, но не успели выйти из помещения, затрещал звонок. Кафедре сообщили, что главконструктор ждет студентов завтра в такой-то час. Желательно с письмом. Спросили мою фамилию, а я прошипел, чтобы прибавили Минибая и Скока. Но они не поехали, а в трамвае до Уралзавода я выслушал воспоминания Зиновия Абрамовича, который порассказал за долгий путь, с какими великими индустриалами он брал интервью в молодые годы. Фамилии и имена сыпались на мою голову, почти ничего мне не объясняя, но по сверкающим очам собеседника я понимал, что эти люди — настоящий златой венец. Не раз он упомянул Вагонзавод, делавший Т-34 на войну, а во мне, наивном, совершалось малоо-



пытное раздвоение: ведь вагоны и танки так не походили друг на друга.

В проходной завода наши личности долго сверяли с паспортами хмурые охранники, потом нас повели по лестницам и переходам, наконец мы вошли в огромную приемную, а затем и в небольшой кабинетик. Далее возник седой и утомленный человек, увидев моего учителя, он облегченно заулыбался — а ведь я и не знал, что они знакомы, — потом, изредка взглядывая на меня, в целом пояснил идею, указывая на кульман, где висел чертеж с общим видом двухковшового экскаватора.

Учитель, приобняв меня, поощрил к изложению просьбы: университет и его студенчество просили бы выступить в актовом зале с рассказом о новом проекте, доступном для неинженерного вуза.

Я передал письмо, Химич проводил пальцем по календарю, назначил день и час, а мы пообещали, что будет человек пятьсот и типографская афиша. Мой старший спутник спросил, как бы показать залу чертеж, но тот помотал головой:

— Проект пока закрытый, приготовьте простую доску и мел — я начерчу силуэт. Подробнее — нельзя.

Эти слова запомнились мне больше, чем наш визит,

да и последующее ликование — главный зал был набит под завязку, легендарного конструктора приветствовал лично ректор, член-корреспондент Академии наук по химии, и оба они после лекции возбужденно жали мне руку, забыв зачем-то про Зиновия Абрамовича, что казалось мне совершенно несправедливым и незитичным.

## 9

В день торжественной лекции об экскаваторе с двумя ковшами как небывалом достижении развитой индустрии я заранее оповестил дружков: наш корпус обойду вообще и буду находиться поближе к залу, где еще могут возникнуть вопросы, за которые отвечаю я. Да! Ведь именно я — раз он знал меня в лицо — и должен был встречать великого конструктора, лауреата Сталинской премии и вообще знатного человека. Вместе с ректором. Следовало не только морально к этому подготовиться, но и физически отдохнуть.

Поутру, побрякав ложками в своих железных кружках, потоптавшись, поболтав, может, чуть и сдержаннее, чем обычно, мои дружки притворили дверь.

Я продолжил утренняя негу.

Ах, как прекрасны молодые сны! Вроде бы зачем спать, если ты переполнен силой, интересом к жизни, исканием истин и уже знаешь, что существование слишком коротко, надобно не валяться, а торопиться, гнать изо всех сил, чтобы успеть сделать что-то самое важное, что самому-то неведомо, незримо, потаенно, но лишь пока!

Еще немного — и все откроется, смысл, как сезам в сказке, отворится, и ты обретешь богатство свое — каким оно будет? Хорошо бы ясным, добрым, счастливым!.. Но оно может оказаться и в ином обличье — тягостным испытанием, назначаемым тебе, чтобы другим стало легче, но кому и почему — ты не скоро узнаешь!

Может явиться чередой твоих и чужих грехов, а чтобы одолеть их, придется много сил и разума собрать в душе своей, обучиться терпению, освоить глубину явленного тебе, обрести кротость и прощение...

Но сон молодой прекрасен своей отстраненностью от бренности бытия — вот что!

Тело твоё распластано и беззащитно, а ум бродит в неведомых страстях, которые никогда не понять и которыми можно только дивиться... А все вместе — это собрание сил для чего-то необычайного,жданного и желанного.

Я проснулся от хлопка двери, и меня кинуло в ужас.

Передо мной стоял на моих глазах сошедший с ума Венька Северов и улыбался.

Я снова был в майке и трусах, то есть совершенно беззащитен, и сел на кровать свою, а он стоял в демисезонном пальто, ботах «прощай, молодость», снимал шапку-ушанку и все улыбался.

Но ведь Венька в сумасшедшем доме! А я был среди тех, кто увозил его. И я спасал от него усы доктора Айболита, а Венькино сумасшествие состоялось в соседней комнате. Почему же он зашел в нашу? Да и что вообще с ним? Сбежал из больницы — тогда что же будет, ведь я видел его буйство и участвовал в его укрощении.

Закоченелый от неожиданности, я поднялся перед Венькой — босой, раздетый, перепуганный, еле разлепил губы:

— Тебя выписали?

Он кивнул головой:

— Теперь вот поеду домой. Купил билеты. Зашел попрощаться.

Он говорил самым обычным голосом, но вот лицо его было узнаваемым с трудом: опухшее, одутловатое, набрякшее чем-то тяжелым.

Я натянул одежду, предложил, чтобы он разделся и сел на соседнюю кровать. Он не разделся, но сел, а на меня глядел какими-то виноватыми, собачьими глазами. Я пришел в себя, признался:

— Ты меня напугал!

— Ну да, — ответил он, — ты ведь еще и спал.

— Прошел почти год? — спросил я.

— Да больше. Это врожденное. Оно будет повторяться, так что надо домой и там как-то устраиваться.

Говорил он совершенно здраво, но смотрел на меня по-прежнему виновато.

— Вень! — сказал я. — Ты извини, что мы редко тебя навещали.

— Да ты что? — ответил он. — Там — знаешь... — Он помотал головой. — Полно народу, про которых все забыли. Так и помирают!

Я эти слова встречал без всякого понимания. Слышал — и все. Понять было трудно, точнее невозможно. Мы жили в обыкновенном мире, а Венька вышел из мира неведомого. И требовалось время, чтобы привыкнуть, понять, как нам разговаривать-то друг с другом.

— Ты уезжаешь сегодня? — спросил я.

— Через пару часов, — ответил он.

— Оставь адресок хотя бы, — предложил я.

— Зачем? Кому надо, знают. А вам жить дальше. Передай всем привет. И еще передай мои извинения.

— Это же болезнь, — сказал я, — за что извиняться?

— Напугал вас! Хотя ничего и не помню.

— Может, — спросил я, — виновата опера? Сцена, костюмы, князь Игорь?

— Это вроде спускового крючка, — сказал Венька, — так мне врачи объяснили. Копится, копится в человеке болезнь, потом раз — и выстрел!

— А мы сегодня, — сказал я, чтобы хоть что-то сказать, — встречаемся с главконструктором Урал-завода. Они придумали шагающий экскаватор с двумя ковшами.

И Венька легонько так толкнул меня в тупик:

— Зачем — два? Он и один-то с трудом поднимает!

Я пораженно посмотрел на Веньку. Спросил:

— Да ты понимаешь?

— Да я-то понимаю. Мой отец экскаваторщик. Правда, он на простом, конечно, работал. Но — большом.

Мне было не по себе. После обеда предстояла торжественная лекция, главный конструктор, гигантский завод, а Венька, несчастный, конечно, человек, но он же из больницы и разве можно серьезно говорить с ним о вещах, ему недоступных! У меня оставался один путь — одеться и идти из общежития.

— Пора! — сказал я, и он кивнул — опухший человек с собачьими глазами.

— Простите меня, передай, пожалуйста, всем! Не забудь!

Мы пошли к выходу, и по дороге я обмолвился, что иду в главное здание, где ректор и актовый зал.

— И еще большая библиотека, — сказал Венька мечтательно. — Мне уж там не бывать!

Я рассеянно кивнул.

— Ты знаешь, — спросил он все так же доброжелательно, — что в нашей библиотеке хранятся книги из Царскосельского лицея? Их эвакуировали, когда немцы подходили! Они здесь! На Урале! Их наш университет спас! Ты понимаешь?

Я, конечно же, понимал. И как почти все, бывал в главной библиотеке. И нас водили в задние комнаты, показывали старинные переплеты, позволяли взять в руки и полистать.

А Венька все восхищался:

— Их ведь мог читать Пушкин!

— Да! Да! — покивал я.

— А ты нюхал их? — спросил он неожиданно. — А ты их целовал?

Я споткнулся и посмотрел на Веньку внимательнее, чем следовало:

— Нет, — виновато улыбнулся он, — я не сумасшедший. Но я нюхал их. И целовал! Как можно не целовать следы Пушкина!

— Даже такие? — спросил я размягченно.

— Даже такие.

На остановке я сел в троллейбус до главного здания, Венька пересек улицу, чтобы двигаться к трамваю, шедшему на вокзал.

Перед этим мы обнялись. Как-то получилось неожиданно. Вдруг я почувствовал себя виноватым перед этим Венькой. Никогда я не обнимался с этим парнем, да и знал-то его кое-как, пока не вбежал тогда в комнату, где он пел арию князя Игоря, кидал кровати и куда пришел Айболит. Но тут мы обнялись. У Веньки в глазах стояли слезы. Он не со мной, конечно, прощался. А со всем, что было у него тут раньше. И это им прожитое было мне совсем не известно.

В смурном состоянии я приехал к главному университетскому корпусу, зашел в столовку, перекусил, но времени до лекции было еще полнехонько.

Я куда-то пошел, а оказалось, прибрел в библиотеку. Это была та самая библиотека. И вел меня туда, конечно же, сумасшедший Венька.

Пришлось постучаться в кабинет директорши и похитрить, во-первых, торжественно представившись, а во-вторых, пригласив на актовую лекцию главного конструктора Уралзавода.

Тетенька, толстая, как квашня, с васильками в глазах — а известно, что толстые люди бывают добрыми, — расплылась улыбкой, и я утонул в уточняющих вопросах, хотя внизу висела афиша, напечатанная университетской типографией. Потом попросил допустить меня к лицейским книгам. Доброжелательство ко мне еще более окрепло, мне вызвали сопроводительницу, и вот...

И вот я хожу между застекленными шкафчиками, вольно открываю дверцы, трогаю краешками пальцев позлащенные корешки. Авторы классические, старинные до такой степени, что неизвестны мной, пятикурсником историко-филологического же факультета-то!

Ну и пусть! Не знай, но вдыхай запахи аж XVIII века, прикасайся, как сказал сумасшедший Венька, к томам, которых только мог — но мог же! — касаться Пушкин.

Я нашел Державина. Не такой уж и солидный том в сравнении с другими. Но ведь это перед ним кудрявый лицеист читал свои стихи! Я понюхал Державина.

И я его поцеловал, сперва обернувшись по сторонам.

А говорят, сумасшествие не заразно!

Поразительно, но факт! Шагающий экскаватор с двумя ковшами так никогда и не построили по неведомым причинам.

Неужто и это сумасшедшим было понятнее, чем разумным? Да ведь и каким разумным!

## 10

Вот в эту пору — ученья почти законченного, дипломных работ — выбранных, лекций к посещению необязательных, но дверей в аудиториях открытых, а речей неостановимых — бурного потока, всего, что можно назвать общим словом «вольница», со мной произошло событие, можно сказать, решающее.

В распахнутой двери появилась Варя!

Болтовня умолкла, сообщество онемело, воззрилось на меня, и я вышел в полутемный коридор.

Она улыбалась, выражала приветливость и доброжелательство. Не давая мне тратиться на удивленные вопросы, помогла:

— Вот приехала! К тебе.

Мы спустились вниз и тормознули у столика старухи Изергиль. Та вскочила, сверкнув партизанской медалью, и, забыв, как зовут Варю, все-таки в две минуты допросила ее — где теперь да что — и только ахала, узнавая: эта красавица в деревне и учит ребят химии. Пока они любезничали, я оделся, вернулся к столику, и Изергиль опять оглядела нас вдвоем. Улыбалась, но головой-то качала. Не поймешь, осуждая или ободрявая.

Подошел трамвай — я уже знал, что едем к Варинной подружке, которая оставила ей ключи, а сама, понятное дело, исчезла.

Забавная особенность — этот громадный город, по ночам обжигающий тучи сиянием горячих струй металла из гигантских печей, город довоенного модерна в архитектуре, пришедшего издалека, издали слышимых буханий незримых молотов, был переполнен множе-

ством деревянных домиков, малышей, занявших собой все щели между чем-то значимым. И в этих избушках обреталось большинство! Наверное, только избранные начальники знали комфорт и всяческие удобства. Остальной миллион — или сколько там? — проживали в домишках, часто прикрытых деревянными крышами.

Мы вошли в такой домик, и я удивился, что стол уже накрыт, очень любовно, конечно же, на двоих, и мы, умывшись под деревенским рукомойником, уселись за него.

Собственно, все, что я произносил по пути, было телячьим мычанием на самые примитивные темы — как доехала, как дела в школе и что за село, куда направили Варю аж на целых три года.

Она отвечала весело, смеялась, рассказывала какие-то подробности деревенского привыкания, но поцеловались мы только в этой комнатухе, едва сбросив пальто. Произошло это не горячо, как когда-то, а, скорее, в новинку, будто все начиналось сначала, но сдержанно. Хотя и беспрепятственно.

Варя усадила за стол, налила винца, это оказалось что-то десертное и мной не любимое, я пригубил, но не выпил.

И она, и я будто знакомимся снова, и тут она общила:

— А я поросеночка завела!

Я даже вздрогнул: какого поросеночка, зачем? Оказалось, самого обыкновенного, чтобы выкормить, а потом... Что потом — подразумевалось, но и объяснение нельзя было не услышать: школа, куда ее послали, хорошая, а учителей не хватает, и она, кроме химии, принялась преподавать немецкий язык и даже физкультуру, как самая молодая, и, значит, подвижная, ну и зарплата набегает достаточная. Что же касается поросеночка, то их откармливают все учителя.

На меня дохнуло чем-то далеким, испытывающим, даже неодолимым. Но мне незнакомым.

После ужина мы снова яростно целовались, а кроме стола и стульев, другой мебели в комнатке не было, так что мы уселись на высокую кровать. Я даже не знаю, какой уклад жизни эта кровать собой являла. Похоже — несколько матросов один на другом, несколько одеял стеженок, а сверху еще и суконных, ее содержимое открылось, когда Варя, чтобы не смялось, сняла покрывало. Подушек тоже была уйма, в общем, я только позже сообразил, что, может, эти матрацы, одеяла и подушки предполагалось с кровати класть на пол, когда приезжало много гостей.

Да, да — мою голову занимала вот всякая такая ерунда, и между этими незначительными мыслями, их жалкими останками, мы улеглись на широкое ложе, и мы опять целовались, но всякая моя настойчивость решительно



пресекалась. В паузе между поцелуями она сказала, что в полночь у нее поезд. Я не мог ей ответить — давай тогда поторопимся. Что-то удерживало меня.

— Зачем же ты приезжала? — сумел я обозначить происходящее.

— Посмотреть на тебя, — ответила она.

А помолчав, я узнал главное:

— Приезжай ко мне в деревню. На каникулы. И тогда будет все, что ты хочешь.

Дурак, я не удержался:

— И жареный поросенок?

Она глубоко посмотрела в меня своими чудесными глазами и ласково ответила:

— Ну, если ты скажешь!

Что я должен был думать? Варя всегда была ласкова и добра, если она не соглашалась, то отводила разговор в сторону. Но, кроме того, в тот вечер она дала мне понять, что я ей нужен, а мне надо выбирать. Ведь Варя старше меня. Может, и умней.

Мы опять ехали на трамвае к вокзалу, и я только тут увидел в ее руке городскую сумочку, может, даже из прошлых времен: небольшую, изящную, в которую можно положить только паспорт, помаду да немного денег. Я спросил:

— Тебе надо денег?

Она рассмеялась:

— По сравнению с тобой я богата, как царица! Я ведь учительница!

И заплакала.

Вот так мы расстались, у ступенек темного вагона, под Варины слезы сквозь ее улыбку, так что проводница утешала:

— Ничего, девушка, все образуется.

На меня при этом не посмотрев. Выходило, я был в чем-то виноват. Мы поцеловались. Как оказалось, в последний раз.

В общагу я катил в привычном ледяном трамвае, и меня встретил озабоченный друг Минибай:

— Ну как?

— Да ничего, ничего, — петушился я.

А потом, когда остались одни, сказал неуверенно:

— По-моему, она попрощалась со мной!

Друг же мой попрощался со своей Валею намного раньше.

Будто мы — и я, и он — выпустили из клеток не нам принадлежащих красивых птиц.

## 11

Оставшийся семестр помнится плоховато, как будто заштрихован тем моим забытым ретушером.

Может, потому что наставала какая-то поспешность, преддверие взрослых хлопот. Защита дипломов, их публичность, радости и обмытия утаились от меня той причиной, что я писал свой труд дома, рылся в библиотечных подшивках древних лет, да и руководителем-то моим, по согласию вузов, стал местный профессор, милейший человек, который по какой-то причине отнесся ко мне с пиететом, недостойным моей персоны. Тем не менее я много переделывал по его наставлениям, рукопись диплома вышла довольно пухлой, с обширной библиографией, да еще и любовно переплетенной под мудрым руководством моего грядущего патрона Леонида Демидовича. В результате я оказался последним, кого-то раздражал своей медлительностью, что не полагалось, и диплом мой передали на сторону здешнему знаменитому знатоку. Кафедра, то есть, конечно, Борис Самуилович и Зиновий Абрамович, поочередно то поругивали меня за непоспешность, то сочувствовали. В конце концов меня призвали в маленькую аудиторию, и мои опекуны торжественно открыли довольно большой, но незапечатанный конверт, в котором оценщик велел поторопить меня с превращением диплома в диссертацию, а пока рекомендовал поставить высший балл.

Эти щедрые очки уже давно отхватили и Джурка со своими очерками, и Минибай с анализом деяний крупной дальневосточной газеты, и множество иных моих однокашников, так что ликование осталось умеренным.

Госэкзамены тоже оказались удовольствием прилагательным, но не существительным. Кто станет ставить неудобья людям, уходящим на сторону? Какой такой злыдень насолит на прощанье? Да и лето подпирало — всем хочется в отпуск, преподавателям тоже, и выпуск обочивался не шумным, не громким и даже не торже-

ственным, но все-таки подарком судьбы. Украшенным новинкой, по крайней мере в здешних краях — нам выдали чудесные синие ромбики на пиджаки и платья: на синем фоне — золотой герб державы.

Мы тут же их привинтили, разумеется! А всякий человек с ромбиком был уже очевидным избранником судьбы, потому что в технических, а значит, огромных институтах в тот год никаких ромбиков еще не давали. Только университетцам!

А вот после ромбиков все заторопились. Ничто никого не держало. Наш курс отказался даже от выпускной выпивки. До сих не понимаю, почему.

Дня в три или в четыре — все рассыпалось.

Обнялись и мы, небольшая мальчишечья компания, со старослужащими Яковом и Игорьком. Старуха Изергиль заболела, когда я зашел проститься в наш корпус. А тетя Дуся, сказали в столовой, уехала в отпуск. Куда-то на юг.

Так все и закончилось — слишком обыкновенно.

Но мы с Минибаем решили засвидетельствовать свою взрослость. Ему предстояло двинуть в Хабаровск, мне — домой.

Перед тем мы поехали в Москву.

## ВЗЯТИЕ МОСКВЫ

### (ВМЕСТО ЭПИЛОГА)

#### 1

Что я Гекубе, что мне Гекуба? А в переводе с непонятного, что мы Москве, да и что нам-то Москва? Родина устроила нас на работу, выдала синие дипломы и ромбики, которые, хошь не хошь, выделяли в толпе, подтверждая твое лично высшее образование. Однако отправились мы к Гекубе не себя показать, а людей посмотреть. Минибай там так и вовсе не был, а мои воспоминания остались в девятом классе. Тогда страну осенял Сталин и въезд в столицу ограничивался приглашениями с милицейским штампом и паспортами.

Сейчас мы ехали в совершенно доступную столицу. Дней на пять, чтобы — что?..

Да мы и не думали толком. Просто решили съездить, поглазеть.

Но далее возник спор, так и не разрешенный. В уральской столице газеты печатали объявления про рейсы самолетов, да и цены на них были почти равны железнодорожным. И я завелся: давай самолетом. Но друг внезапно уперся — только поездом. В молодые годы люди не ссорятся, а остаются при своих мнениях. И я поехал в аэропорт.

Сколько ни пыжусь, не могу вспомнить, почему же был тогда билет до Москвы — летом 1958 года! Вроде бы, кому такая мелочь нужна? Да вот оказалось — нужна. Думаю, цена была более чем доступной, если я, еще студентка, мог себе, не разоряясь, его купить.

В общем, я приехал в аэропорт на рейсовом автобусе с отцовским фанерным чемоданом, вошел в неказистый зал и подгреб к кассе. Народу почти не было, самолетами тогда летать не привыкли — еще не обладал народ такой вредной привычкой, — и я стал за дядькой в шляпе, который громко говорил кассирше:

— Но у вас же в руках документ!

— У него истек срок! — решительно отвечала тетка, довольно-таки немолодая.

— Но что же мне делать? — спрашивал он.

— Просто купить билет, товарищ Каганович!

Каганович! Я заглянул на него сбоку, но даже и сбоку было понятно: это и правда Каганович, Лазарь Моисеевич, соратник Сталина, директор треста, кажется, по добыче асбеста, — такой негорящий материал, добываемый на Урале. Мы читали в газетах, что Кагановича назначили туда. Но вот он стоит перед кассиршей в аэропорту и унижается!

В кассу, довольно просторную комнату за стеклянным перекрытием и с полукруглой дырой для общения, вошел мужчина, по возрасту схожий с кассиршей, взял у нее из рук мандат с блестящими буквами и, будто продолжая разговор, только вежливее, подтвердил:

— Мы не можем вам выдать депутатский билет, Лазарь Моисеевич. Вы должны понимать. Просто купите, это недорого!

— Но это неправильно! — горячился человек, явление которого здесь совсем недавно могли бы признать чудом.

Но теперь он на чудо не походил. Галстук слегка сбился, шляпа мешала ему, и он снял ее, обнаружив лысину, покрытую мелкими капельками пота. Принялся промокать голову мятым платком.

— Вы понимаете, — признался он вдруг этим двоим, за окном. — У меня и денег-то нет! Я не рассчитывал на такой поворот! Вы должны мне дать депутатский билет.

— А вы пройдите в депутатский зал, — придумал дядька за стеклом.

— Не пускают! — воскликнул Каганович. — Говорят, не обслуживаем!

Он не жаловался, нет! Он не говорил, кто он такой и как они смеют! Он искренне и как-то по-детски удивлялся. И я подумал, что все это не похоже на справедливость. Выходит, его выкинули сверху, но лишили права на почтение к нему, запретили даже такое простое:

грохнуть кулаком по кассовому прилавку и гаркнуть: «Да я Каганович! Забыли! Мое имя носило метро в Москве! До сих пор ходят пароходы моего имени! Я соратник вождя, в конце-то концов! И отдал стране свою жизнь!»

Ну а дальше у меня в моих мысленных советах не получалось. И что ему еще следовало бы гаркнуть? «Дайте бесплатный билет!» Или обернуться к пустому залу и обратиться: «Люди, подайте мне на билет. Я Каганович!»

— Где у вас почта? — спросил вдруг человек, чье имя носило метро.

Кассирша безмолвно протянула руку.

И тут он повернулся ко мне. Коричневого цвета мятый костюм, в руке какой-то бухгалтерский, потрёпанный портфель с двумя застёжками. В другой руке — шляпа. Лысый, круглолицый, с вытаращенными круглыми глазами пожилой человек, не вызывающий симпатий. Но мне его было жалко.

Он смотрел прямо на меня, но не видел, как мне показалось. Он глядел куда-то дальше, и то, что ему там мерещилось, было известно только ему.

Он сделал первый шаг, споткнулся на ровном месте и чуть не упал. Великий человек, которого еще пять лет назад несли бы на руках по дороге, заваленной цветами, если бы он оказался в этом неказистом аэропорту, смотрел на меня с обидой, которую никто не желал испугать.

— Да это неправильно! Я сейчас позвоню в Москву! — проговорил он.

Я подошел к окошку, протянул паспорт, назвал город, куда лечу. Кассирша выписала мне билет. И не произнесла ни звука. Дядька за ее спиной, как и Каганович, отирал лоб от пота. На земле было жарко.

В самолете стало прохладнее. Но Кагановича среди пассажиров я не увидел. И это оказалось не единственное приключение моего первого авиаперелета.

### 3

Самолет назывался Ил-14, двухмоторный, наполовину пустой и ничего общего, пожалуй, не имел с нынешней авиацией. Все в нем дребезжало, даже кресло, где я расположился. Летел он надрывно, и я не раз обругал себя, что не поехал поездом. Потом в оконца ударил дождь, тут же превратившийся в ливень. Где-то поблизости прогромыхало пару раз, самолет падал в ямы, потом, будто сталкиваясь с чем-то твердым, стукался днищем и снова взмывал вверх.

Вышла стюардесса и объявила, что в связи с непогодой мы сделаем промежуточную посадку. И назвала мой родной город.



Ил не сел, а плюхнулся на грунтовую полосу, во все стороны разлетались брызги, и под воздействием, видно, авиационных винтов земной грязью облепило самолетные окна, да так, что ничего за стеклами не было видно. Когда они слегка прочистились, я сообразил, что мы сели рядом с авиазаводом, почти в городской черте, а этот несерьезный аэродромчик содержал на своем краю У-2 — четырехкрылые самолетики для сельхозобработки полей с воздуха.

У меня созрел план: сбегая в павильончик регистрации, должен же быть там телефон — и ошарашу маму, как ошарашил когда-то, выписываясь из больницы после воспаления легких. Только теперь просто сообщу, что остановился на минутку по дороге в Москву.

Но Господь видит даже наши грешные помыслы. И тут разглядел мое тщеславие. Ливень хлынул с новой силой, и летчики, заглушив моторы, только по рации и могли сообщаться с аэродромной командой. Слегка приоткрыли дверь, снизу им крикнули, что трап подогнать не могут — непролазная грязь — и нам советуют, раз не надо дозаправлять горючкой, просто лететь дальше. Ни выйти из самолета, ни зайти в него оказалось невозможным.

Пассажиры слышали, как пилоты переговариваются с аэропортом, и не только здешним, как все советуют им взлетать, пока не стало хуже, или просто переждать ливень. Странная, однако, логика.

Мы посидели, даже вздремнули. Я очнулся от грохота винта и увидел, что дождь за окном перестал. Даже чуточку солнце выглянуло.

Наш четырнадцатый Ил гудел исправно, мощественно, самоуверенно. Но вот беда — не мог тронуться. Пилоты форсировали моторы — бесполезно. Колеса у самолета — хотя мы не видели их — похоже, просели в грязь, и тяга двигателей не помогала. Снова моторы умолкли, опять приоткрыли дверь, снизу кто-то гаркнул, что попробуют пригнать гусеничный трактор. А пока разыскивают трос. Консультировались — за что можно трос этот закрепить к самолету. В ответ называлось шасси.

Трактор появился нескоро и унизительно для всей гражданской авиации выдергивал самолет из аэродромных ям, как какой-нибудь маломощный грузовик, а потому, когда двигатели все же взвыли и мы, трясясь по кочкам, пошли на разгон в сторону леса, где располагалось старое городское кладбище, я не на шутку струхнул и сжался, упрямая все силы небесные подсобить снизу и приподнять наш громко шумящий, но трудно взлетающий самолет.

И был услышан.

Ах, Москва! Ах, Кремль с рубиновыми звездами! Ах, Большой театр с толстенными колоннами, между которыми и назначают встречи люди, не знающие Москвы, но желающие иметь точный и совершенно понятный адрес.

Вот там, между колоннами Большого, мы и повстречались с моим другом еще через день — он устроился в гостинице «Турист», а я у своей московской тетушки. Мы потоптались по площади трех театров, а потом выбрели к именитой улице Горького, а вот здесь, в перекрестии гостиницы «Москва», ресторана «Националь» и Госплана, родилось у нас осознание непреложного требования судьбы — наконец-то где-то сесть, пообедать вдвоем, за отсутствием остальных, да слегка обмыть окончание альма-матер.

И здесь нельзя не заметить, чуточку отступив, что улица Горького, теперь Тверская, сильно, порой неузнаваемо, отличалась от сегодняшней. Тротуары, закатанные асфальтом, гораздо скромнее, зеркальные витрины отечественного происхождения и не такие сверкающие, еще отсутствует памятник Юрию Долгорукому, а здание газеты «Труд» выползло на проезжую часть — это гораздо позже его задвинут, чтобы не мешало двигаться. Нет на Пушкинской площади кинотеатра «Россия», но есть дом Фамусова, который снесут, нет гостиницы «Минск», которую построят плохо, а потом и ее снесут, построят нечто дорогостоящее. Нет еще ресторана «София» и множества кафе и торжественных дверей, как теперь, — да я и говорю-то здесь исключительно о правой стороне улицы, по которой мы и отправились в сторону Белорусского вокзала.

Улица Горького, осиянная солнцем, благодушно, как казалось, взирала на нас, ее ширина поражала щедростью, летнее тепло расслабляло, освобождая от настороженности. Да и не было нам еще о чем-то тревожиться и чего-нибудь опасаться: весь мир этот светлый — с нами, за нас, и мы шагали, никуда не торопясь, а только вдохновляясь своим новым качеством — уже полновесных выпускников, хотя еще и не начавшихся работников. Минует месяц, и нам придется отвечать за свое дело как равным и взрослым! Но эта узкая щель — между тем, что было, и тем, что будет, дула нам в лица теплым ветерком беспечности.

Так нам казалось.

В пространстве первого квартала нас ничего не оставило. Зато на взгорке в широко распахнутую стеклянную дверь вилась очередь, и мы стали крайними. Регулировал ее какой-то добродушный и толстый увалень, похоже, уловивший наши намерения.

— Ждать придется минут тридцать! — кивнул он нам. — И выпивки тут не дают!

Мы ошалело поглядели на провидца и послушались его. Даже кивнули ему в знак благодарности.

Перед «Центральной» гостиницей имелся ресторан, наверное, его часть, но он оказался закрыт, потому что открывался с двенадцати, а нас угораздило встретиться с ранья. Заглянув в «Елисейский», мы торопливо прошли вдоль округленных витрин, испытывая самое серьезное отвращение — это не предназначалось нашему, начинающему жизнь, словию. Разве пирамиды «Чатки» напомнили уральскую явь.

Пушкинскую площадь мы не стали обходить по кругу, предполагая, что вряд ли найдется что-нибудь подходящее для наших поисков, и по простоте душевной двигались все дальше и дальше, спотыкаясь о пороги редких тогда заведений общепита, переполненных людьми, — в конце концов, не для жратвы же трудился Алексей Максимович, которого мы почитали все душой и имя которого носил университет в столице Урала, который мы окончили.

Двери возникали перед нами. Мы останавливались, примерялись, отказывались, шли дальше.

И так повторялось, повторялось, повторялось, пока уже недалеко от Белорусского вокзала — во всяком случае, Горький хоть издалека, из-за угла, но уже поглядывал на нас, — мы не вошли в почти пустое кафе-мороженое, бухнулись на железные стулья, обитые дерматином, и заказали два мороженых.

Официантка принесла нам блестящие вазочки с разноцветными шариками, и я спросил:

— А выпить у вас что-нибудь есть?

Не отрывая взгляда от наших лиц, бабенка громко крикнула:

— Рая, что выпить есть?

— Ты же знаешь! — ответила Рая из-за кулис. — У нас не бывает!

— Видите, — ехидно ответила официантка, — не я горю! А заведующая!

И стала разворачиваться, но я ее тормознул:

— А что вот там за бутылка?

Показал пальцем на зады прилавка: даже издали привлекали своей непривычностью латинские буквы на этикетке.

— Ща узнаю, — ответила она лениво, а потом крикнула из-за тонкой переборки: — Какой-то ликер!

— Ну и дайте нам, — привязался я на грех нам с Минибаем.

Видно, это было донельзя захудалое заведение, даже в системе равенства всенародного общепита. Я потом не раз, вспоминая его, не мог понять — за-

чем оно существовало. На улице-то Горького. Так и не нашел ответа.

В общем, мы взяли эту таинственную бутылку с переводимой этикеткой — на каком же она была наречии-то? — затребовали по стаканчику и, разумеется, ничего, кроме граненых, явно под водку, сосудов, в кафе-мороженом не нашлось. Ну и хряпнули по полстакану, понюхав, естественно, сначала и учуяв, казалось, неядовитый все же и сладковатый аромат.

Закусывать пришлось мороженым, да это и получалось вполне естественным, и мы слегка повспоминали знаменитый зеленый ликер «Шартрез», опробовать который нам удавалось в столовой Горного института.

Конечно, конечно, все эти четыре слова — «Шартрез», «столовая», «горного», да еще и «института» — никак не сопрягаются в высоких размышлениях о смысле жизни. Но есть же размышления и пониже. Вот почему нас не испугал этот розовый ликер с неясным именем, мороженое шариками, официантка — в одном лице и вежливая, и подлая, особенно если заметить, что она носит за кулисы продолговатые тарелочки с солеными огурцами и резко пахнущей колбасой.

Ну еще мы проявили вольность и к Алексею Максимовичу. Сели к окну, а значит, к нему, спиной и забыли о его правдивом реалистическом взоре. Такое не сходит с рук!

Болтая ни о чем — прошлое уже окончилось, новое не началось, — мы с другом допили сладкую и тягучую гадость, не демонстрируя при этом своего истинного отвращения, доели мороженое и рассчитались.

Официантка почему-то отворачивала взор, похоже, думала о чем-то куда более серьезном, чем наши рублики, но на прощанье разомкнулась:

— Заходите, мальчики!

Мальчики выкатились.

И тут он снова посмотрел на нас, почтенный Алексей Максимович. Сбоку, из-за угла. Посмотрел точно так же, как смотрел, когда мы входили в эту кафешку, — довольно испытующе. Будто знал про нас что-то ведомое одному ему.

Надо заметить, что в кафешке мы не допросились никакой воды. Кроме как по стакану из-под крана. А ведь жили в стране равноправных «Боржоми», «Арзни», «Полюстровской» и прочих «Ессентуков».

Странно, конечно, кафе-мороженое — и без воды! И так быть не должно! Не имело права! Но было же...

Итак, мы вышли, и через десять шагов меня замутило. К горлу подступила какая-то гадость из живота. Скривилось и лицо Минибая.

Самое лучшее для нас — извините за прозу правды! — было бы вытошнить, освободить наши чрева. Но

где это сделаешь в заасфальтированном со всех сторон сердце столицы? Да еще на улице Горького! Издалека мы увидели тележку с газировкой и подбежали к ней.

— Без морса! — едва проговорил я.

Жадными глотками мы выпили шипучую воду. Вроде сразу отпустило.

Мы, тем не менее, загнанно оглядывались — ни свернуть, ни уединиться. Еще недостижимее были туалеты — во все кафе стояли теперь уже длинные очереди, не прорвешься, а объясняться — ниже не то чтобы достоинства, но и простого смысла.

Не оставалось ничего иного, как прибавить шаг и двигаться обратно. Почему мы так решили? А мы и не решали. Кто-то гнал нас обратно, но кто-то и помогал — наверное, сам Горький.

На каждом углу данной ему улицы у него стояли тележки с приветливыми тетками — хотите верьте, хотите нет.

Это были не жеманные девицы и не усталые старухи. Если примерить их к нам, тогдашним, они годились нам в сестры, но очень старшие, замужние сестры с детьми, разумеется. Мы подбегали к тележке на каждом очередном углу и просили по стакану газировки без морса. Она стояла десять копеек. Вся трудность состояла в сдаче. Газировщицы честно отсчитывали нам мелочь с рубля, а мы знали, что ресурс заправки водой невелик и надо успеть добежать до следующего перекрестка. Но старшие сестры улыбались нам, старались не обсчитаться, были доброжелательны и заботливы лично к нам!

И все-таки чистая газировка могла отсрочить тошнотворную мусть всякий раз — на краткое время. К концу каждого квартала мерзость из смеси мороженого с чем-то, похожим на ликер, снова просилась наружу. Мы едва успевали подбегать к тележке, заправиться водой, снизить, видно, концентрацию обмана. И широким шагом, переходящим в легкую рысь, двигаться к следующему углу, где — о, чудо улицы Горького! — без обмана функционировала следующая тележка.

Весь мир вокруг нас оказался размазанным и нечетким — как в поезде, пролетающем станцию. Нас больше не интересовали исторические здания, встречные люди и окружающая обстановка. Наши взгляды, пока мы допивали стакан у одной тележки, отыскивали следующую. Всякий раз подсознание или еще какой-то сложный механизм рассчитывал возможности организма, сопрягая с числом необходимых метров.

Первые десять-пятнадцать шагов после тележки мне, как и Минибаю, похоже, легчало, потом бурление являлось вновь и движение продолжалось — но куда, до каких пор и к чему мы бежали? Чтобы пристроиться в укромном уголке?

На углу, напротив телеграфа, где теперь парикмахерская «Ив Роше», мы выпили по предпоследнему стакану. В середине квартала, ведущего к гостинице «Москва», — последний.

И тут кто-то щелкнул выключателем. Сказал про себя, а может, и вслух, но неслышимо для нас: «С этих хватит!»

Мы выпили последний стакан, и все в нас разом утихло. Мир, сорвавшийся с рельсов, вернулся в свою колею. Мы снова разглядели улицу, людей, даже каких-то девушек — надо же, с университетскими значками на платьях! И даже, кажется, улыбнулись им.

Но! Нам не дозволялось никаких вольностей!

Организм без всяких переходов потребовал другого. Да и сколько он мог еще выдерживать это издевательство над ним? Ведь по дороге, совершаемой впробежку, от Белорусской площади до «Москвы», мы выпили стаканов восемь, а то и девять!

Теперь вода требовала воли! И я крикнул Минибаю, к счастью, обдуманное во время перебежек:

— В Москву!

Конечно, я имел в виду ее в кавычках, подразумевая гостиницу, и правой рукой уже держал в руке десятку для гостиничного швейцара в ливрее. А вышло по Чехову: «В Москву! В Москву!»

Все завершилось как по заранее написанному сценарию.

Мы с трудом дождались зеленого света на переходе — о кротовых подземных ходах тогда никто даже не фантазировал, — быстрым, но наглым шагом подошли к мордвороту в ливрее, который охотно принял бумажку, и на мой возглас — «Туалет!» — охотно ткнул пальцем в нужную сторону.

О, Москва! О, улица Горького! О, почтенный Алексей Максимович! Как же легкомысленны были мы, вступая — лишь мимолетно! — на священный асфальт столицы!

Однако и дерзко ответили что-то вроде того: да не очень-то и хотелось!

Правда, этот ответ явился уже после туалета. Или вовсе уж нахальное: держава наша велика!

«Вот-вот, — наверное, ответил бы Алексей Максимович, — не в столицах начинают, в них заканчивают!»

Но и такого не было во лбу — ни у меня, ни у Минибая. Да ни у кого, наверное, из нашего выпуска Уральского университета имени Горького, увы, не существующего более вообще.

И даже самый легкий намек на близость к Москве отвергался кем-то, кто обретался над нами, владел юмором, поддельным ликером, газировкой без сиропа, скрытой издевкой, ну и всей нашей сутью.

Да что там! Нам просто со смехом указали, что мы здесь чужаки.

Так казалось.

Но зачем я все это написал?

В подробностях, в деталях, которые разрушились, рассыпались, отошли?

Кому это надо — терпеливо узнавать свидетельства забытого времени? Ведь его заслонили новые эпохи, когда иные люди требовали подчиниться другим правилам.

Но я складывал это повествование из светлых надежд, из засохших лепестков памяти, из непониманий и одолений людей, прикоснувшихся к войне своим детством. Ведь даже наши старослужащие не воевали на фронтах, хотя считались участниками войны. Просто такими участниками было все наше племя, юные годы которого наполнены жаркой надеждой на свободное от беды будущее. Но вот пришло ли оно и обернулось ли исполнением этих надежд — вопрос без односложного ответа.

Жизнь идет не по нашему сценарию. Хотя она сама-то никогда не согласится, что это не мы выбрали ее.

Ушли, уходят, уйдут однокурсники — все мы, не люди — а время!

Без всяких восклицательных знаков, тихо, не привлекая внимания, уходит с нами наша память, а значит, тогдашняя страна!

Даже воспоминания становятся зыбкими, похожими на туман, и бьется мысль: а было ли все это?

В этих рисунках по памяти, в свидетельствах забытых пространств, как легко увидеть, нет композиции, много действующих лиц, возникающих и исчезающих безвестно — именно так устроено все наше существование.

Люди входят в жизнь и выходят из нее без предупреждения.

Мир тает, одни сменяют других, и хорошо, когда в доме хотя бы завалывается альбом со старыми фотографиями. И если его кто-то листает, кто-то его хранит, это значит, что прошлое существует, оно только отошло из памяти до поры до времени.

И вовсе не грех обернуться на повороте. И вспомнить, пока не поздно. Чтобы другие не забыли.

